ИЛ
ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
ISSN 0130-6545
16+

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД

"СТРАНСТВУЮЩИЙ ПО МИРУ РЫЦАРЬ"

К 400-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ СЕРВАНТЕСА

РОМАН ЭДЕНА ФОН ХОРВАТА "ЮНОСТЬ БЕЗ БОГА"

"КОРИЧНЕВАЯ ТРАГЕДИЯ" КСАВЬЕ ДЕ ОТКЛОКА

2016
6

Основан в 1955 году

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В рубрике «Документальная проза» — главы из книги французского журналиста Ксавье де Отклока (1897–1935) «Коричневая трагедия» в переводе Елены Баевской и Натальи Мавлевич. Во вступлении к публикации Н. Мавлевич рассказывает, что книга была «написана под впечатлением поездки по Германии сразу после пришествия Гитлера к власти». В 1935 году автор погиб, отравленный агентами гестапо.

«Эта Германия в униформе любит свое безумие, организует его, извлекает из него колоссальную выгоду… пора бы уже осознать всю мерзость и всю опасность этого психоза…»

- Коричневая трагедия
  -
  - Из первой части
    - II. Дилемма
    - V. Старуха и ее пулемет
    - VII. «Sau-Franzose!»[3]
    - IX. Холодные сердца
    - XII. Люди-автоматы
  - Из второй части
    - I. Дважды умершие
    - III. Концерт-лагерь
    - IV. Война детей
    - V. Полукровка
    - VII. Каторга для священников
    - VIII. Гитлеровские шуточки
    - XII. Заключение
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13

- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22

Коричневая трагедия
Главы из книги

Ксавье де Отклок (1897–1935) принадлежал к старинному графскому роду, роду рыцарей, воинов. Его двоюродным братом был Филипп Леклерк де Отклок, тот самый легендарный генерал Леклерк, командовавший французскими войсками при высадке союзников в Нормандии и освобождавший Париж. Ксавье не уступал мужеством ни ему, ни своим славным предкам. В ранней юности он прошел Первую мировую, был ранен, награжден орденом. А в 20–30-е годы прославился как талантливый журналист, бесстрашно проникавший в самые, как сказали бы теперь, горячие точки планеты, сначала публикуя репортажи оттуда в парижских газетах, а затем обобщая свои наблюдения в публицистических книгах. Четыре последних были посвящены нацистской Германии. Отклок одним из первых забил тревогу и попытался открыть соотечественникам глаза на происходящее в соседней стране. Он хорошо понимал неизбежность войны и предвидел ужас, который нацизм принесет миру.

«Коричневая трагедия», фрагменты из которой предлагаются читателям журнала, написана по впечатлениям поездки по Германии сразу после пришествия Гитлера к власти и опубликована в 1934 году. Журналист показывает, как быстро и страшно изменилось немецкое общество, как новый режим расправляется со своими жертвами, среди которых как политические противники, так и просто «неугодные»: евреи, католические священники, недостаточно восторженные граждане. Каждая главка книги — документальное свидетельство о бесчинствах штурмовиков, «патриотическом воспитании» молодежи, бесчеловечных концлагерях, истерическом обожании фюрера… о том, во что невозможно или неуютно поверить жителям благополучной, цивилизованной Европы.

«Эта Германия в униформе любит свое безумие, организует его, извлекает из него колоссальную выгоду. И нашей древней западной мудрости пора бы уже осознать всю мерзость и всю опасность этого психоза, за которым стоят шестьдесят пять миллионов людей-автоматов, полчища роботов, идущих вслед за вождем, колдуном с железным сердцем».

Нацистские власти очень скоро поняли опасность разоблачений Отклока. В 1935 году, вскоре после выхода в свет его последней книги «Ночь над Германией», во время очередной поездки в Берлин, он был отравлен агентами гестапо и после трех

недель мучительной агонии умер в Париже.

Сегодня во Франции вспомнили о Ксавье де Отклоке, написана его биография, переиздаются его обретающие новую актуальность книги.

Из первой части

II. Дилемма

Восьмое ноября. Поздней ночью скорый из Дюссельдорфа подъезжает к вокзалу Берлин-Фридрихштрассе. Что может быть приятнее, чем спустя шесть месяцев отсутствия возобновить знакомство с этим гигантским городом. Я уезжал отсюда в разгар небывалой националистический лихорадки и исступленных требований социальной справедливости.

Сотни тысяч оборванцев из пригородов шли и шли тогда по городу. Белые свастики на их красных знаменах были похожи на огромные торжествующие зрачки, с насмешкой глазевшие на буржуазные дворцы. Столичная беднота шагала в Темпельхоф[1] приветствовать посланца свыше, сулившего хлеб, работу и славу.

Одичавший, черный Берлин, оголодавшая метрополия, присягали на верность своему фюреру. Что там сейчас — прежняя идиллия? Или брак по любви превратился в брак по расчету?

Посмотрим, послушаем. Пускай наш разум, подобно восковому валику, запишет и громы, и шорохи. Если хочешь постичь душу народа, нельзя отмахиваться от первых впечатлений. Это знают все репортеры.

* * *

На выходе из вокзала, слева, из-под железнодорожного моста, протянувшегося над Фридрихштрассе, заполненной людским потоком, доносятся вопли. Странный дуэт: сперва визгливый голос выкрикивает несколько слогов, тонущих в автобусном грохоте. Затем вступает тяжкий продолжительный рев, перекрывающий ночные шумы. И все смолкает. А потом опять все сначала.

Разгадка тайны такова: два десятка коричневорубашечников расположились кружком, перегородив тротуар. Это шар, «отряд», нацистская ячейка, навербованная из соседних домов: они наблюдают за порядком на отрезке улицы длиной в несколько сотен метров.

В середине круга шарфюрер, командир ячейки, розовощекий молодой парень, который прямо-таки лучится гордостью. Каждые две минуты он пронзительно выкрикивает:

— Deutche Volksgenossen! Немецкие патриоты…

Мы находимся в самом центре города в час, когда

закрываются конторы и магазины. У приказчиков, банковских служащих и барышень-машинисток свои заботы, им нет дела до этой непрерывной пропаганды. Толпа обтекает коричневую скалу, не останавливаясь. Разве что прохожие смолкают, проходя мимо.

И тогда коричневая скала, двадцать штурмовиков, скандирует во всю глотку:

— Не забывайте: кто во время плебисцита 12 ноября проголосует против Гитлера, тот предатель нашей родины…

Предатель? В Третьем рейхе это слово наводит трепет, оно может убить, его нельзя слышать без дрожи.

Штурмовики завывают дальше:

— … и ему не место в Германии.

Всем тем, кто через несколько дней не проголосует за Гитлера, не место в Германии? Это значит, не только оппозицию, но и всех воздержавшихся ждет или изгнание, или концлагерь.

Миллион двести тысяч штурмовиков в один и тот же час по всей Германии сеют в душах бесчисленных безымянных прохожих эти угрозы, словно пригоршни отравленных семян. И будьте уверены, из этих семян не взрастут даже начатки бунта. Напротив, из какой-то атавистической покорности миллионы беспартийных проголосуют как надо. Что до десяти миллионов «красных» и «черных», еще 5 марта 1933 года числившихся в списках коммунистов, социалистов и католиков, они проголосуют «за» еще усерднее, чем все прочие.

Для них зловещий напев, который я только что слышал, наполнен особенно грозным смыслом. На чаше весов хлеб для детей, свобода, а может быть, и жизнь.

И я вспоминаю процессии оборванцев, которые 1 мая маршировали под музыку в Темпельхоф присягать на верность фюреру. Как радостно, с какой верой эти истощенные бедняки орали «Хорст Вессель», гитлеровский гимн! Если с тех пор не наметилось никакого разочарования, если люди по-прежнему полны энтузиазма, зачем тогда прилюдно выкрикивать угрозы в час, когда трудовой люд расходится по домам?

«Голосуй ‘за’ — иначе ты предатель».

«Голосуй ‘за’ — иначе тебе не место в Германии».

На заре Национальной революции перед людьми не ставили подобной дилеммы.

V. Старуха и ее пулемет

Вот вам поразительная жанровая картинка, которой мне сегодня утром довелось полюбоваться; она меня воистину ошеломила.

Иду по Унтер-ден-Линден к Бранденбургским воротам. По обеим сторонам широкой асфальтовой полосы выстроились банки, дворцы, дорогие магазины, шикарные кафе, первоклассные отели. Все это холодное, тяжелое, без малейшей элегантности.

Хотя, проектируя эту улицу, великие строители Гогенцоллерны явно стремились заткнуть за пояс и рю де ла Пэ, и авеню дю Буа. Видимо, Унтер-ден-Линден задумана как оплот новейшей всемирной цивилизации. Нужно, чтобы иностранный турист чувствовал себя здесь как дома. Сейчас иностранный турист может почувствовать здесь нечто другое — смрад, исходящий от старых трупов, к которому примешивается с трудом уловимый, еще более трагический запах грядущего разложения. Судите сами, преувеличиваю ли я.

* * *

Две огромные витрины, на которые падает тень гитлеровских знамен и красно-бело-черных флажков с тевтонским крестом (это военный штандарт):

«‘Die Front’. Выставка сувениров великой борьбы».

Плата за вход пятьдесят пфеннигов. Три франка. Это не Музей Инвалидов в миниатюре, не музей героизма, где у каждой реликвии своя история, где прославляется не смерть, а мужество, бросающее вызов смерти.

Помещение, в которое вы входите, — это скорее лавка старьевщика, совмещенная с костехранилищем, что-то вроде торговли уцененными памятками резни. Вам показывают способы убивать быстро и эффективно.

В витринах полно осколков от снарядов, пробитых касок, оружия, корпии. На каждом экспонате — этикетка, на которой коротко и ясно указан калибр смертоносного орудия или место, где была найдена снятая с убитого солдата железная каска; это сувениры и результаты немецкой стрельбы. Вот и все.

Вдоль стен колоссальные авиаторпеды. Эти кошмарные шпалеры устрашающих синих чугунных груш, эти гнезда, полные огромных стальных яиц, в которых таились до поры до времени желтые свирепые цыплята из панкластита[2], расположились вокруг самолета.

На торпедах этикетки: 200, 300, 500 килограмм.

Этикетка на самолете: «Такие машины летали над Парижем и Лондоном».

Женщины, в ужасе бегущие в темноту, рушащиеся небогатые квартирки, пылающие пирамиды, внутри которых погребены

обугленные тела сгоревших заживо детей, — но вряд ли выставка «Die Front», открытая в одном из самых фешенебельных мест Берлина, призвана вызывать у посетителей эти тоскливые мысли. Всемогущий доктор Геббельс, шефствующий над этой свалкой останков, стремится, напротив, вдохновить публику:

— Посмотрите, как Германия наводила страх на другие страны в славные дни войны. Она была великой державой. Она перебила множество врагов.

* * *

Налево от входа, в колыбели из дубовых листьев, перевитой яркими лентами, ухмыляется стальная морда 150-миллиметровой гаубицы. Рядом намалеванный на холсте танк, исполосованный белым, зеленым и рыжим камуфляжем. На его боках пятнышки ржавчины. Имитация брызг крови для пущего правдоподобия?

В зале раздается звук шагов.

На уровне земли — рельефная поверхность, холмы из папье-маше, леса из тонкой зеленой стружки, похожей на вермишель, микроскопические деревни и потеки кобальта, изображающего реки. Полдень. Один из служителей объясняет мальчишкам, которые явно забрели сюда прямо из соседней школы, что это панорама поля сражения.

Грубый голос, грудь колесом — все изобличает в этом человеке бывшего фельдфебеля, унтер-офицера старого закала.

Подхожу. Фельдфебель в штатском тычет указкой в деревню на панораме:

— Если бы наши части ее удержали, — говорит он, — мы бы вошли в Париж, детки. Тогда бы es wäre schöne Zeit gewesen. Тогда бы все было прекрасно.

На круглых детских рожицах расцветают ангельские улыбки. Мальчики уходят. Служитель обращается ко мне:

— Не угодно ли вам будет послушать про die zweite Marne-Schlacht? Про вторую битву на Марне?

— Благодарю, я там был… и не на вашей стороне.

Славный малый не обижается на такую мелочь. Предлагает мне симпатичные сувениры — фотографии полей сражений, кладбищ, развалин, обвешенных медалями вояк в касках и так далее…

Но меня ждет куда более любопытное зрелище.

* * *

Напротив 150-миллиметровой гаубицы, покоящейся в колыбели из дубовых листьев, расположился пулемет. Один из тяжелых пулеметов с жерлами из листового железа, похожими на жаровню для кофе, на длинных тонких ножках — семнадцать лет назад им придавали подобие человеческого облика, после чего они успешно превращали людей в привидения.

— Поверните колесо. Проверьте прицел. Теперь осмотрите зубчатую передачу, подающую ленту…

На сидении орудия расположилась какая-то женщина. Посетительница, уплатившая пятьдесят пфеннигов, берет у второго служителя урок стрельбы из пулемета. В конце концов, каждый развлекается как может. Но эта женщина, управляющаяся с рукоятками смертоносного орудия, — особа почтенного возраста.

— Жмите на гашетку, gnädige Frau, — говорит фельдфебель. — Вот так! Представьте себе, будто вы стреляете.

— Ach! Wie ulkig! Ах, как занятно! — вздыхает старуха.

Вид у нее не злобный. Неужели она воображает, что убивает людей, создания из плоти и крови, рожденные другими женщинами?..

Теперь вообразим, что на Рю де ла Пэ под высоким покровительством министра народного образования открывается выставка военной техники.

Представляю себе, как бывшие унтер-офицеры объясняют школьникам, что мы ведь в свое время могли отказаться от перемирия и войти в Берлин, и как бы это было прекрасно.

Далее представляю себе, как в это восхитительное место приходят старые дамы, чтобы поучиться тонкому искусству обращения с пулеметом.

Вы только подумайте, какой вой подняла бы немецкая пресса, разоблачая на весь мир эти «провокации кровожадной империалистической Франции!»

А ведь такое же странное зрелище каждый может увидеть в Берлине. И у нас дома никто не возмущается.

VII. «Sau-Franzose!» [3]

Враждебный выпад? Нет — просто рассуждение, правда, не слишком приятное. Примем его с улыбкой, придавая ему не больше значения, чем оно заслуживает.

Чтобы почитать французские газеты, я хожу к Моксиону, это уютная кондитерская, где когда-то не прекращалась веселая толкотня и царила космополитическая атмосфера, присущая нашим кафе на Больших бульварах. Сегодня там по-прежнему

много народу, но обстановка изменилась. Иностранцев больше нет. Говорят только по-немецки. Женщины меньше накрашены и куда безвкуснее одеты.

Представьте, в Третьем рейхе мода находится под негласным присмотром нацизма!

Тут и там в бесцветной и малоразговорчивой толпе вокруг меня попадаются экзотические фигуры: блестящие гривы волос, алые влажные губы, оттеняющие восковую бледность лиц. Нескромные взгляды сверкающих черных глаз. В разговоре эти люди машут руками и брызжут слюной.

Несомненно, это козлы отпущения, на которых в коричневой Германии идет облава. Ost-Juden, восточные евреи.

Когда-то сотни этих людей имели процветающие магазинчики на той самой Фридрихштрассе, главной артерии Берлина. Преследования обрушились на них с куда большей жестокостью, чем на могущественных еврейских банкиров. Бойкоты, придирки со стороны полиции, запрет на высшее образование для их детей, а для них самих — запрет на увольнение служащих-«арийцев»; пощады им не было ни в чем. Большинство из них влачит жалкое существование в эмиграции.

Остальные притаились в задних комнатах своих лавок. Теперь они пытаются как-то влиться в жизнь. Выползают из своих нор. Принимаются опять делать хорошую мину при плохой игре, ведут бесконечные споры, драматические и бессмысленные, за чашкой кофе с молоком.

Вот за столиком справа сидят три еврея. Столик слева пустует.

* * *

Появляются две девицы с круглыми мордашками, со здоровым румянцем во всю щеку. На тяжелых белокурых косах лихо красуются фуражки защитного цвета. Кожаные пальто. Под мышкой книги и портфели.

Это студентки забежали полакомиться пирожными с кремом перед занятиями в университете, который тут же рядом.

Они входят, поводя плечами, громко разговаривают, хохочут во весь рот. Они стопроцентные национал-социалистки, эти студентки, и их военизированные повадки странным образом контрастируют с трогательной стыдливостью и неприступностью. Впрочем, ни залихватский облик, ни манеры этих двух красоток нисколько не оскорбляют взгляда.

Они бросают портфели и книги на свободный стол. Та, что

повыше, в упор разглядывает евреев за соседним столиком. Я уверен, что те тоже успели ее заметить, потому что они смолкают. Она говорит подружке, не понижая и не повышая голоса, не то чтобы с вызовом, но и без малейшего стеснения:

— Scheusslich. Какая гадость. Куда ни придешь, всюду эти Sau Juden (еврейские свиньи).

Та, что поменьше ростом, с прекрасными ласковыми глазами и славным вздернутым носиком, замечает мои французские газеты. И тем же безмятежным тоном подхватывает:

— И Sau Französen, французские свиньи.

…Я езжу в Берлин уже много лет, и никогда до сих пор то, что я француз, не навлекало на меня оскорбительных замечаний. Наоборот! К парижанам берлинцы всегда питали этакую настороженную симпатию с примесью скандального любопытства — так провинциал относится к кузену-шалопаю, прожигающему жизнь среди столичных искусов и опасностей.

То, что две берлинские студентки, ничуть не озабоченные сексом, обозвали меня «французской свиньей», еще не значит, что отношение к нам полностью переменилось. И все же подобные вопли души не лгут.

Сопоставьте эту бытовую зарисовку с жанровой картинкой, которую я показал вам вчера, разыгравшуюся в двух шагах, на выставке «Die Front». Старая дама, учившаяся целиться из пулемета, и эти две студентки, внешне такие разные, объединены мистическими узами. Эти узы — ненависть.

Они нас ненавидят. В нашей стране старушки готовятся к благочестивой кончине, а у девушек на уме один флирт. Что ни говори, разница очевидна.

IX. Холодные сердца

Гектор фон Л., один из моих венских друзей, проездом в Берлине. Он назначает мне встречу в кафе «Эдем». В прошлом драгунский офицер австрийской армии, Гектор сохранил связи в немецкой кавалерии. Он скорее германофил и не питает ни малейшей враждебности к национал-социализму, поэтому мне кажется, что он лучше, чем кто бы то ни было, способен ответить мне на такой вопрос:

— Как настроен рейхсвер[4] по отношению к гитлеризму? Что думают кадровые офицеры о нацистских «генералах», которым обязаны подчиняться? Добровольно ли склоняется старая аристократическая «зеленая» армия перед этой новой, плебейской, «коричневой», которая ее затопила?

Австриец отвечает без колебаний:

— Вы неверно ставите вопрос. Вернее, вы рассматриваете проблему на французский лад, исключительно с сентиментальной точки зрения. На самом же деле проблема имеет две стороны.

Во-первых: питают ли офицеры рейхсвера, особенно офицеры-дворяне, симпатию к национал-социалистическим кадрам? Отвечу вам: нет.

Во-вторых: заинтересованы ли эти офицеры в поддержке Гитлера? Отвечу вам: да.

В подкрепление этого оригинального тезиса Гектор фон Л. подробно пересказывает мне то, что говорилось в его присутствии несколько дней назад, и эти речи оказались настолько характерны, что он их принял к сведению. Он охотился в Вестфалии на землях крупного промышленника. На обед в узком кругу приехали несколько офицеров из кавалерийского полка, стоявшего в соседнем городке. Двое из них были с женами.

Если хотите, назовем их имена: ротмистр фон Бенков с супругой, обер-лейтенант фон Штерблинген с супругой. Три молодых лейтенанта, фон Дрота, Дирк цу Диркенхайм и фон Розен.

Обильные возлияния. Stahlton, сальные шуточки, уместные на конюшне, — древнее немецкое рыцарство этого тона ничуть не боится. В конце концов австрийский гость завел разговор о Гитлере.

* * *

В любой другой компании все напустили бы на себя серьезность. Каждый бы пробормотал на ухо соседу нечто лицемерно-хвалебное. Разве можно быть уверенным, сидя среди нацистов-буржуа, что сосед не состоит на жалованье в хваленой политической полиции?

Квадратное лицо ротмистра, капитана фон Бенкова, выдубленное ветрами во время бесчисленных скачек, выражает иронию, он бормочет сквозь зубы:

— У этого типа (Гитлера) есть не только пылкая любовь к народу, которую сегодня необходимо демонстрировать в Германии. Не такой это бесхитростный крестьянский паренек, как его нам изображают. У него в башке имеется холодный изощренный ум.

Лейтенант фон Розен закуривает папиросу и выдыхает между двумя затяжками:

— А мне нравится, что мы в рейхсвере единственные не

обязаны его обожать и за него голосовать. Вы держите дома портреты Гитлера? — Все с улыбкой уверяют, что нет, не держат. — И я не держу, — подхватывает он. — Наверно, нигде не найдется так мало свастик и всех этих фетишей, как в наших офицерских казино. У нас патриотизм в крови, в конце-то концов. Нас можно не поучать каждую минуту насчет того, что делает небожитель.

— С моим мужем приключилась забавная история, — вступает мадам фон Бенков, хорошенькая жена ротмистра. — К нему явился тип в коричневой рубашке. Он хотел, чтобы наш эскадрон подписался на гитлеровскую провинциальную газету. Этот человек уверял, будто идеалы рейхсвера должны совпадать с идеалами коричневой армии…

Тут мадам фон Бенков начинает смеяться:

— Господи, какой он был грязнуля, этот нацист. От него буквально воняло. Муж выставил его за дверь.

— Пинком под зад, — уточняет ротмистр. — И пока все веселятся, добавляет: — К счастью, у нас в кавалерии пинков под зад никто еще не отменял.

Тут вмешивается г-н фон Дрота:

— У Гитлера наверняка есть какие-то тайные замыслы. Это чувствуется. Мы, конечно, хохочем (sic!) над бесконечными трюками, которые он проделывает, чтобы угодить народу. Естественно, на его сторонников это производит впечатление. Но я лично знаком с несколькими князьями, которые его принимают. И с несколькими урожденными княгинями, которые ищут его дружбы (wirkliche Prinzessinen die ihm herumlaufen). Он лавирует среди них, словно для этого родился. Он далеко не такой простак и крикун, каким кажется.

Дирк цу Диркенхайм пожимает плечами:

— Уж эта его популярность!..

Разговор о Гитлере продолжается:

— Его насильно окунули в массы. Ему полагается разыгрывать из себя этакого крестьянина, сына народа. На самом деле все это вранье. Он душой и телом принадлежит мелкой буржуазии. Когда он пускает пыль в глаза и, нарядившись в свои старые одежки, празднует в Мюнхене годовщину образования своих штурмовых отрядов, это никого не вводит в заблуждение. Все знают, что он должен школить народные массы, как унтер-офицер школит норовистую кобылу.

Ни благородные дамы, ни офицеры не возражают.

Но вот молоденький Розен замечает, что, избавив Германию от демократической заразы, Гитлер все же оказал стране услугу. И тут ротмистр восклицает:

— Эта услуга важнее всего, что сделал Бисмарк!

— Нет, — возражает фон Штерблинген, — Гитлер 20 января и Бисмарк в Страсбургском договоре преследовали одну и ту же цель, ту самую, к которой стремились Фридрих, Лютер и Гогенштауфены. Они строили истинную Германию.

И все пылко выражают согласие.

Затем промышленник включает радио. Разумеется, репродуктор изрыгает очередную речь — не то Геринг, не то Геббельс, не то сам Гитлер.

— Довольно политики, — стонут дамы.

Хозяин крутит ручки настройки и вместо бесконечного красноречия не без труда находит джаз-банд из лондонского «Савоя».

* * *

Австрийский приятель умолкает, и тогда я спрашиваю:

— Так значит, по вашему мнению, в рейхсвере нет никакого подспудного недовольства?

В ответ Гектор фон Л. веско произносит:

— Среди младших офицеров, армейских офицеров недовольства нет. С другой стороны, ничто не доказывает, что его нет и среди генералов. Как ни странно, во времена парламентаризма их положение было прочнее, независимее. Они были чем-то вроде теневого правительства. Весьма могущественного правительства. Ну, а теперь…

В сущности, отношения между «зеленым» Главным штабом и «коричневым» Главным штабом далеко не всегда так безоблачны, как хотелось бы думать нацистам.

Вместе с тяжелой промышленностью этот Главный штаб создал, финансировал, экипировал «коричневую» армию.

Гитлеру позволили пополнять ряды своей армии добровольцами, «черным» рейхсвером[5], «Фронтбаном», всеми неявными силами, которые военным удалось спасти от разгрома — теперь они стали опорой национал-социализма, среди них он вербовал кондотьеров и даже наемных убийц. Тем временем генералы, по примеру Людендорфа, видели в бывшем «мазиле» не более чем простое орудие военного реванша. А Гитлер, помимо этого, стал мессией для среднего класса, для крестьян и олицетворением заступника для деклассированных элементов. Следствием этого стало общественное движение. Проникнутое демагогией народное ополчение избрало своих собственных вождей. Нацистский милитаризм пытается — и будет пытаться

впредь — избавиться от опеки «старых генералов».

Разумеется, конечная цель у них одна и та же: раздвинуть навязанные границы, разбить цепи, заставить победителей 1918 года возместить побежденным выгоды от их победы с процентами и процентами на проценты.

Но при этом возникает множество политических, экономических и социальных проблем, требующих решения. Причем военная аристократия и коричневые грубияны не всегда согласны друг с другом в том, как эти проблемы решать.

Иногда это противостояние принимает исключительно жестокие формы: возьмем попытку убийства фон Зекта, преобразователя армии. Падение и бегство фон Шлейхера (говорят, что сейчас он в Париже, на положении беженца). Принудительная отставка генерала фон Хаммерштейна-Экворда[6], начальника сухопутных войск и яростного защитника традиций «старой Пруссии», и т. д.

То, что происходит, — не мелкая склока между двумя камарильями. Истинные причины этой борьбы следует искать в более высоких сферах. И для Франции она куда важнее, чем кажется. Главные штабы Гитлера и рейхсвера разошлись во мнениях относительно даты и форм будущих наступательных операций против некоторых соседей Германии.

Но какая из двух партий настаивает на промедлении? Какая, напротив, рвется все поставить на карту?

На этот страшный вопрос у нас пока нет ответа.

XII. Люди-автоматы

11 ноября 1933 года в час дня над Германией поднимается оглушительный рев, а за ним полная тишина. Ревут не люди, а машины. Заводские и корабельные сирены, колокола на шахтах, паровозные гудки, автомобильные сигналы, электрические звонки — все стальные глотки страны заходятся в радостном вопле, а затем умолкают.

Это неисчислимые механические стада приветствуют своего пастыря, своего укротителя, хозяина всех немецких тружеников.

В берлинском районе Зименштадт, в огромном заводском цеху длиной в двести метров и высотой в пятьдесят, Гитлер взбирается на массивный, как башня феодального замка, ротор динамо-машины. У его ног толпятся тысячи крохотных человечков, кажущихся еще меньше рядом с генераторами, похожими на черных слонов, человечков, невидимых в этих стальных джунглях, где вместо лиан — разукрашенные цепи чудовищных роторов, где лебедки, словно жирафы, тянут шеи к

мостовым кранам, болтающимся, подобно гориллам, на самых высоких ветках этого стального девственного леса.

Такую мизансцену выбрал фюрер, чтобы перед плебисцитом в последний раз воззвать ко всей Германии, а заодно ко всему миру… Не правда ли, она глубоко символична?

Диктатор будет говорить не с Германией, а с немецкими трудящимся. Он не отделяет человека от орудия его труда, не отделяет мыслящей машины от механической. Послушайте его. Меньше всего он обращается к разуму своих слушателей. Тяжелыми фразами, вескими, как удары молота, он возбуждает самые примитивные чувства и рефлексы: гордость, ненависть, волю к жизни, тягу к власти.

Вспоминаю его речь на прошлое первое мая в Темпельхофе. В те времена он еще спорил. Он старался убедить. Теперь он приказывает. В нем чувствуется неслыханная уверенность, которую дает всемогущество. Его крепкие лапы рубят воздух точными жестами. Кажется, что они управляют рычагами человеческой машины, мчащейся на всех парах, громыхая и пыхтя, по рельсам, на которые перевел ее неведомый стрелочник.

Но он-то, машинист, знает, куда ведет этот путь, погруженный во мрак.

* * *

В день этой речи, которой не откажешь в некоторой первобытной красоте, в великолепном яростном напоре, я ужинаю в большом ресторане. Со мной за одним столом оказались два немца. Один из них тощий, нелепый, потрепанный, смахивает на мелкого чиновника, читателя «Берлинер тагблатт». Другой — штурмфюрер (командир штурмового отряда), здоровенный нацист из провинции, приехавший в Берлин на плебисцит: нашивки капустно-зеленого цвета указывают на принадлежность к ганноверской милиции.

Разговор завязывается легко. Достаточно упомянуть о странной зименштадской проповеди:

— Какой оратор! Какая страстность! И т. д.

Толстый нацист выслушивает меня с одобрительным бурчанием.

— А вы не иностранец? — спрашивает он.

— Француз.

Судя по всему, это его нисколько не смущает. Напротив. Отхлебнув молока, голосом, дрожащим от горделивого благоговения, он задает следующий вопрос:

— И что вы думаете о нашем фюрере?

— Гениальный человек.

Невзрачный чиновник перебивает меня, в его тоне слышен упрек:

— Человек? Нет. Он не просто человек, как мы с вами.

И улыбается штурмфюреру заискивающей улыбкой, словно вымаливая похвалу. Однако здоровяк в коричневой рубашке ставит штатского хлюпика на место. Хрипло и высокопарно он поправляет:

— Человек?.. По мне, так в нем видно что-то другое. Он посланец божий (sic). Он…

И гитлеровец-провинциал запинается в поисках слова, которое бы передавало его мысль. Но то ли слово не находится, то ли он не смеет произнести нечто чересчур возвышенное, поэтому умолкает. У меня остается четкое ощущение, что еще немного — и он провозгласит Гитлера новым воплощением Христа.

Все набожно затихают.

— Завтра Германия проголосует, — говорю я негромко. — Не думаю, что против него окажется много народу.

Коричневая рубашка пожимает плечами. Такие нелепые рассуждения и разговоры об оппозиции может позволить себе только француз. Но штатский хлюпик жаждет хотя бы скромного реванша:

— Горе тем, кто не проголосует «за». Они сильно рискуют. Их предупреждали. Вот послушайте.

Он берет свою «Берлинер тагблатт» и читает вслух заметку, напечатанную на первой странице:

> На собрании 4-й группы НСНРП руководитель пропаганды по провинции наш товарищ Шульце-Вех-Юнген делал доклад на тему: «Один народ — один вождь».
>
> Обращаясь к противникам национал-социализма, оратор предостерег их от любой вражеской вылазки против режима. Проверенные в битвах коричневые бойцы, сказал он, скорее утопят страну в океане крови (in einem Meer von Blut), чем покинут своего фюрера.

Силы небесные! Каких-то две сотни дней тому назад «Берлинер тагблатт» еще была официальным вестником оппозиции гитлеризму — и вот что она сегодня публикует на первой полосе! А полуголодный бедняга, с воодушевлением читающий мне эти людоедские завывания, принадлежал, возможно, к партии социал-демократов.

Лавина катится. Человекомашина несется вперед с адской скоростью к ограничителю хода, который высится в конце рельсового пути, и она сметет эту преграду — или разобьется вдребезги и сгорит в пламени апокалипсиса.

Ясно, что на земле Гитлера последнее слово никогда не остается за штатским и беспартийным. Толстый нацист резко пресекает комментарии, которыми чиновник собирался разукрасить прочитанное:

— Да ладно! — бурчит он. — Кому какое дело до недовольных? Для нас имеет значение только партия.

Эта Германия в униформе любит свое безумие, организует его, извлекает из него колоссальную выгоду. И нашей древней западной мудрости пора бы уже осознать всю мерзость и всю опасность этого психоза, за которым стоят шестьдесят пять миллионов людей-автоматов, полчища роботов, идущих вслед за вождем, колдуном с железным сердцем.

Перевод Елены Баевской

Из второй части

I. Дважды умершие

«Коричневый террор» — тема, в которой беспристрастному журналисту труднее всего разобраться.

Вот кто-нибудь из противников существующего режима вдруг погибает при подозрительных обстоятельствах (с 30 января 33-го года таких смертей наберется уже не одна сотня). Гитлеровские газеты помещают об этом несколько строчек в рубриках «несчастные случаи» или «самоубийства».

Однако кое-какие сведения просачиваются за границу. Антинацистская пресса поднимает шум, говорит о политическом убийстве, рассказывает о страшных пытках, которым подвергалась жертва.

Казалось бы, самый простой способ понять, что же произошло, — это собрать информацию на месте. Ведь у предполагаемой жертвы наверняка были родственники, друзья, соседи. Можно пойти и опросить их.

Нет. Нельзя.

Когда в Третьем рейхе насильственной смертью умирает враг коричневой диктатуры, он, так сказать, умирает дважды. Первый раз — когда его хоронят. И второй — когда он тут же, мгновенно, исчезает из памяти всех, кто знал его при жизни.

Никто ничего о нем не помнит. Неизвестно, где он жил и жил ли вообще. От его жизни не осталось никакого следа.

Я много раз сталкивался с этим феноменом полного исчезновения. Вот один из самых странных и самых трагических примеров — погибшие в Кёпенике[7].

* * *

Представьте себе что-то вроде парижского «красного» предместья Сен-Дени, только еще более нищего и неспокойного. Таков берлинский район Кёпеник в сорока километрах от центра города. Когда Гитлер пришел к власти, это место слыло «цитаделью коммунистов». За первые полгода, до самого июня, когда утвердился новый режим, ничего ужасного как будто бы не произошло.

Но вот наступила страшная ночь с 21 на 22 июня, когда «самоубийства» и «несчастные случаи» так и посыпались.

Г-н Штеллинг, бывший министр-социалист Мекленбурга,

утонул в Финов-канале, его труп нашли в зашитом мешке. При таких обстоятельствах как-то неловко говорить о самоубийстве — нацистские газеты списали все на несчастный случай.

Г-да фон Эссен и Ассман, члены республиканского Рейхсбаннера[8], скончались в больнице. Предварительно им буквально переломали кости дубинками. «Пьяная драка» — сообщили нацистские газеты.

В ту ночь еще одиннадцать человек исчезли из дома неведомо куда. С тех пор никто нигде и словом о них не обмолвился.

Видимо, все почему-то внезапно ударились в бега.

А несчастная семья Шмаус пала жертвой еще более загадочной эпидемии. Муж, жена, их сын и невестка умерли одномоментно; причины смерти разные — пуля, веревка и дубинка — все три признаны властями естественными. Вдобавок ко всему еще и дом их сам собою загорелся и сгорел дотла, так что полиции и освидетельствовать было нечего.

Официальная версия такова:

Вечером 21 июня секретаря социалистического профсоюза Шмауса, подозревавшегося в незаконном хранении оружия, навестила штурмовая группа. Самого Шмауса дома не оказалось, а его сын, с пистолетом в руках, попытался воспрепятствовать обыску. Он серьезно ранил троих штурмовиков, забаррикадировался в доме и покончил с собой. Во время перестрелки был случайно убит зять Шмауса Раковский.

Штурмовики удалились, а позже, ночью, вернулся сам Шмаус-старший и в отчаянии повесился, а предварительно поджег дом.

Г-жа Шмаус, единственный оставшийся в живых член семейства, умерла от горя… три дня спустя. В Третьем рейхе чахнут быстро.

Вот и все.

* * *

Ну а неофициальная версия звучит иначе. Я привожу ее как противоположность первой, без комментариев.

Нацисты решили покончить с Шмаусом, который был душой рабочего сопротивления в Кёпенике. Днем 21 июня штурмовики дважды появлялись у дверей его дома. Но Шмауса успели предупредить, он ушел и вернулся домой только к ночи, уверенный, что до завтра никто за ним уже не придет и он может спокойно лечь спать.

Но в одиннадцать часов вечера штурмовики вернулись и привели с собой заложника, рабочего-коммуниста Раковского, зятя Шмауса. Раковского заставляют окликнуть тестя. Тот, на свою беду, открывает дверь. Нацисты с дубинками врываются в дом. Г-жа Шмаус кричит от страха, ее избивают.

Сын Шмауса стоял, забившись в угол, пока не увидел, как издеваются над его старой матерью. В бешенстве он хватает пистолет, направляет на штурмовиков и тут же сам падает, изрешеченный пулями.

Дальше происходит что-то чудовищное. Убогую хижину сотрясают выстрелы и крики, Шмауса-отца нацисты вешают прямо над трупом сына. Зятя расстреливают у дверей, поджигают дом — трухлявые доски плохо горят, а еле дышащую г-жу Шмаус тащат в городскую тюрьму, где она умрет три дня спустя.

Примечательная подробность: штурмовики прихватывают с собой еще с десяток сбежавшихся на шум соседей. Ведь для громил нет ничего неприятнее, чем согласные показания свидетелей их зверств. Вот почему, помимо ставших жертвами «несчастных случаев» Штеллинга, Ассмана, фон Эссена и семьи «самоубийц» Шмаусов, в ту ночь таинственным образом исчезло еще несколько человек.

* * *

Восемнадцать умерших и пропавших без вести за несколько часов в одном предместье — такое не может пройти бесследно. Что бы ни было причиной этих трагических событий, люди должны были еще долго о них говорить. Должна была появиться какая-нибудь жуткая, фантастическая легенда, какие легко зарождаются в простонародье.

Я поехал в Кёпеник, чтобы собрать любые, пусть даже самые слабые отголоски трагедии 21 июня. Мне шепнули на ухо название улицы и номер дома, где жил Штеллинг, бывший мекленбургский министр, чье зашитое в мешок тело нашли в Финов-канале. Шмаусы, кажется, жили где-то поблизости, но, где точно, никто не знал. Или, может быть, не смел сказать (позднее я понял причины этого страха).

С Потсдамского вокзала туда час с четвертью езды по надземке. И чем дальше продвигаешься на юго-запад огромного города, тем больше щемит душу странное чувство, возникающее от удручающего запустения. В Нойкёльне еще бурлит рабочий люд, придающий ему видимость жизни. Трептов уже полумертв; потрескавшиеся за четыре года простоя заводские здания высятся

на пустырях и скалятся голыми балками, как выброшенные на берег остовы усатых китов.

На огромном кладбище в Баум-Шуленвеге народу довольно много, но мертвых тут все-таки больше, чем живых. Дальше идут еловые посадки и многоэтажные бараки для безработных — темная хвоя и мрачные казармы. Потом горы песка, тесные типовые застройки, убогие домишки, кучи отбросов, стык городской и сельской зоны, смесь городской и сельской грязи.

Вот, наконец, и Кёпеник.

…Дом на респектабельной Гросс-Дальвитцерштрассе, в котором жил Штеллинг. Консьержей в немецких домах обычно не бывает. У дверей подъезда табличка с именами жильцов и звонками в каждую квартиру.

Имени пропавшего на табличке, конечно, нет. Захожу, поднимаюсь по лестнице. Навстречу спускается жилец. Спрашиваю у него:

— Вы не могли бы сказать, где проживает семья Штеллинг, gefälligst[9]?

— Штел…

Даже не договорив проклятого имени, он на секунду останавливается, ошалело смотрит на меня и кубарем пускается вниз.

С простоволосой девушкой, скорее всего, ходившей за провизией служанкой, получается еще хуже. Мой вежливый, высказанный на внятном немецком языке вопрос подействовал на нее буквально так же, как какая-нибудь непристойная шутка или страшная угроза. Она побагровела, что-то промычала, кинулась к одной из дверей и захлопнула ее за собой. Я услышал, как изнутри ключ проскрежетал в замке, точно щелкнули челюсти.

Спасибо еще, что она не позвала полицию!

…Никаких следов несчастной семьи Шмаусов тоже не удалось обнаружить.

Они жили в нескольких сотнях метрах отсюда, в квартале стандартной застройки. Вот он этот квартал: увитые настурцией серые каменные домишки под ржавыми железными крышами. На улице слоняются ребятишки. Обычно нет ничего проще, чем разговорить бедняков.

Попробуйте! Детишки шарахаются. Женщины отворачиваются. Ей-богу, можно подумать, стоит вам упомянуть имя Шмаус, как ваше лицо преображается и на людей смотрит страшный, перепачканный кровью вампир.

И ведь пяти месяцев не прошло с той ночи, когда один из этих домиков пылал, набитый трупами. Тени убиенных, должно быть, еще бродят в здешних местах. Но никто ничего не помнит.

Да полно! Никто не смеет помнить.

Об умерших и пропавших в Кёпенике ночью 21 июня писали даже в национал-социалистических газетах. Значит, эти несчастные люди существовали. И если во всем, что произошло, нет ничего криминального, то почему все молчат, чего так боятся, заслышав их имена? Местным жителям запретили говорить. Но как сделать, чтобы этот запрет не нарушался? Только с помощью тотальной слежки и подлого запугивания.

III. Концерт-лагерь

В Филармонии дают концерты прославленного дирижера Фуртвенглера, на которые собирается весь Берлин.

Но есть другие Konzert'ы. Туда людей сгоняют силой. Дирижеры орудуют хлыстами. А что за музыка! Только вздохи и гнетущее молчание.

Я имею в виду то, что берлинские мальчишки называют «Концерт-лагерями», — этакий каламбур, перекроенное зловещее название концентрационных лагерей.

Я попытался если не раскрыть всю правду о концлагерях, то собрать воспоминания освобожденных узников, впечатления немецких и независимых журналистов, которым удалось туда проникнуть, и, наконец, откровенные рассказы самих нацистов. Прямые свидетельства очевидцев — вот что найдет читатель в нескольких главах, посвященных этой ужасающей теме.

— Концлагеря — это черное пятно новой системы, — говорил мне Ивар Фергюссен, шведский журналист, в целом сочувствующий гитлеровскому режиму. — Сам по себе принцип не такой уж варварский. Интернировать политических противников, как делает коричневая революция, — все же лучше, чем убивать их, как поступают большевики. Однако при этом должны соблюдаться какие-то правила, все должно быть под контролем. А вот этого как раз и нет. Даже юстиция и полиция не имеют права вмешиваться в то, что творится на этих карательных фабриках. Там царит полный произвол.

В доказательство своих слов швед повел меня к некоему Штайнблеху. Этот человек держит магазинчик мужского белья на торговой улице в центре города. Представьте себе: гроздья галстуков из искусственного шелка, стопки сорочек и посреди всего этого — маленький еврей лет сорока, тощий и бледный, как хвощ.

Чуть что, при малейшем шуме он начинал моргать, дрожать всем телом и судорожно кривить рот. Даже если не знать, что́ ему пришлось пережить, с первого взгляда видно: он боится, и этот

страх никогда не пройдет.

Штайнблех испытал на себе все прелести концлагеря в Ораниенбурге, неподалеку от Берлина.

Фергюссен — его старый знакомый. Но стоило шведу что-то шепнуть ему на ухо, указывая на меня, как он отчаянно, почти комически затряс головой; казалось, он сейчас нырнет под прилавок или зароется в ворох белья.

Заговорить?! Самые безобидные слова в Третьем рейхе могут обойтись очень и очень дорого.

Чтобы чего-то добиться от несчастного, мне пришлось проявить чудеса дипломатии, пообещать, что буду нем, как могила, и даже купить несколько кошмарных галстуков, которые он мне показывал трясущимися руками.

Вот сложенные вместе обрывки его рассказа — речь его то и дело пресекалась внезапными паузами, ему было трудно говорить от волнения и еще оттого, что он старался казаться равнодушным, как бы извиняя гнусные бесчинства, жертвой которых стал.

* * *

Вплоть до 16 августа 1933 года Штайнблех, хоть и еврей, вел себя как лояльный подданный Третьего рейха. Молча терпел бойкот. Платил внушительную дань нацистам-вымогателям, повадившимся заходить в его магазин. Даже избегал общаться с единоверцами, если подозревал их в резкой критике власти.

Ему трудно не верить. Достаточно взглянуть на этого безропотного лавочника, чтобы понять, насколько он безобиден.

Живет Штайнблех довольно далеко от своего магазина, в бедном квартале Фридрихсхайн, снимает квартиру в старом доме, набитом жильцами. Рядом с ним жил другой мелкий торговец-еврей Розенфинкель, благоразумно державшийся в стороне от всякой политики.

Двое тихонь отлично ладили друг с другом и не чаяли беды.

В общение с другими соседями они не вступали, чтобы не нарваться на неприятности. Но, разумеется, почтительно здоровались с уважаемым доктором Вернером, встречая его на лестнице. Герр доктор, неудачливый дантист, был членом партии, влиятельным человеком в доме. Персоной, облеченной тайной властью и правом надзирать за другими жильцами, во исполнение основополагающего нацистского принципа:

«В каждом немецком доме у партии должно быть по одному верному человеку».

К несчастью для двух неприметных иудеев, герр доктор Вернер принадлежал к знаменитой 35-й труппе 5-го штандарта, которым в свое время командовал Хорст Вессель[10], элитному подразделению, отличавшемуся едва ли не самой лютой по сравнению со всеми другими штурмовиками ненавистью к евреям.

И вот начинаются несчастья. Все развивается стремительно и совершенно абсурдно, как в страшном сне.

В 6 часов утра 16 августа мирно спящего Штайнблеха будит стук в дверь — в нее колошматят кулаками.

Он идет открывать в ночной рубахе. На пороге стоят четверо штурмовиков, членов вспомогательной полиции, в синих шинелях, и сам доктор Вернер, местный «чекист», в полном, роскошном облачении — плохой признак.

Вернер молча входит, включает в коридоре свет, наклоняется, подбирает какую-то бумажку с печатным текстом и торжествующе возглашает:

— Коммунистическая листовка!

Так и есть — «красная литература»! Что такие бумажки тоннами печатают сами нацисты для своих полицейских операций и что их по ночам суют под двери тем людям, от которых хотят избавиться, — знает весь Берлин, и несчастный Штайнблех — лучше всех. Но от ужаса он теряет дар речи.

Двое вспомогательных полицейских остаются у него и под предлогом обыска выгребают все, что есть в квартире.

А вскоре опять появляется дантист, гроза всего дома. Он так и сияет.

— Розенфинкель — ваш друг? Вы же с ним встречаетесь каждый вечер?

Отрицать бесполезно. Дантист записывает признание и слащавым тоном сообщает:

— Мы только что нашли у Розенфинкеля такую же листовку, как у вас. Это прямое и неопровержимое доказательство коммунистического заговора.

Он велит Штайнблеху побыстрее одеться. И с глумливой усмешкой добавляет: «Не забудьте прихватить зубную щетку!» В полной мере оценить этот юмор бедняга смог не сразу.

Внизу Штайнблех видит Розенфинкеля в сопровождении двух других штурмовиков, такого же бледного и растерянного, как он сам.

Арестанты и конвоиры садятся в автомобиль, который увозит их в штаб 5-го штандарта.

Все жильцы наблюдают эту сцену из окон. Кое-кто

выкрикивает ругательства в адрес «грязных евреев». Большинство молчит. Некоторые пожимают плечами.

* * *

— В казарме СА нас не били и даже не оскорбляли. Офицер, который допрашивал по отдельности Розенфинкеля и меня, был предельно вежлив. Записал наши протесты. И, кажется, не считал нас заведомо виновными. Он сказал: — Мы соберем информацию о вас — и приказал отвести нас в камеру.

Мы ждали, что нас отпустят с минуты на минуту. Это все было так нелепо! Но прошло несколько часов. А вечером пришел тот самый офицер. Вид у него был расстроенный. Собранная о нас информация оказалась неблагоприятной[11]. И в ожидании более основательного расследования нас отправят в Ораниенбург.

Вспоминая эти страшные минуты, Штайнблех вращает глазами и бормочет пересохшими губами:

— В концерт-лагерь! Без всякой вины!

— И без всякого суда, — добавляет шведский журналист.

За двумя жертвами заезжает грузовик СА, кузов набит битком: плотно, как скот, там стоят десятка три таких же осужденных «невидимым правосудием». Позади, свесив ноги, сидят трое нацистов с карабинами. Они равнодушно молчат — все это им не в диковинку.

После двух часов безмолвной ночной езды грузовик въезжает в большой неосвещенный двор, по которому снуют темные фигуры с фонарями. В окнах жилых построек света тоже нет. Не слышно голосов. Штайнблеха, Розенфинкеля и еще нескольких новоприбывших заводят в какое-то помещение, вероятно, большое и полное узников, судя по храпу и стонам спящих и густому запаху человеческих тел, наполняющим влажную тьму. Кто-то грубо приказывает новичкам ложиться. Ни кроватей, ни даже циновок нет. Они укладываются на голом цементном полу. Дверь захлопывается, скрежещут засовы.

Так Штайнблех оказался в отделении предварительного заключения ораниенбургского концлагеря.

— С нами неплохо обращались. Работать не заставляли. Четыре часа в день мы гуляли во дворе между облупленными бараками, а остальное время сидели взаперти в том же помещении, где стояли только столы и простые дощатые стулья.

— А как кормили?

— Так себе. Но думаю, охранники СА питались не намного лучше нас. Труднее всего было приноровиться есть. Приборов нам

не полагалось. Мы передавали друг другу немногочисленные вилки и ложки, которые охранники продавали тем, кому удалось прихватить с собой деньги. Пить давали только воду. Но самое ужасное — это невозможность сохранить человеческий облик. Другой одежды, кроме той, что на мне, у меня не было. Когда столько дней не раздеваешься, не бреешься, не причесываешься, не меняешь белье, становишься похож на оборванца, и от тебя воняет, как от дикого зверя.

— Сколько же времени вы были там, в Ораниенбурге?

— Месяц, — отвечает Штайнблех и, брезгливо передернувшись, добавляет: — Вот когда я понял, почему во время ареста герр доктор Вернер советовал мне взять с собой зубную щетку.

— Но когда вас освободили, вы подали жалобу за незаконное заключение?

Штайнблех так пугается, что мы не можем сдержать улыбку.

— Жаловаться на них… — шепчет несчастный с таким ужасом, будто я любезно предложил ему взять нож и перерезать себе горло. — Нет-нет! Как только дежурный надсмотрщик выкрикнул наши имена и велел немедленно убираться, мы ушли и были счастливы. А за воротами радостно обнялись — наконец-то мы увидим родных, о которых целый месяц не имели вестей, вернемся в наши магазины, которые стояли заброшенными. Розенфинкель сказал мне: «Давай сначала зайдем в пивную и выпьем по кружечке». Ну и вкусное же было пиво!

Поистине комический возглас, и глазки Штайнблеха заблестели, будто он снова переживал это утробное наслаждение. Однако я представил себе, какие физические лишения и моральные страдания стояли за этой коротенькой репликой, подумал о слепой, бесчеловечной жестокости гигантской гитлеровской государственной машины, которая запросто перемалывает таких вот маленьких, придурковатых, беззащитных людишек, и мне стало совсем не весело.

…За весь месяц, пока Штайнблеха ни за что ни про что держали в ораниенбургском «концерт-лагере», его ни разу не допросили. И о причинах освобождения ему тоже никто ничего не сказал.

Бывшая фабрика в берлинском предместье, превращенная в концлагерь, может вместить около полутора тысяч человек (обвиненных и заключенных). Из достоверного источника мне известно, что с апреля 1933 года там перебывало примерно восемь тысяч узников. И ни один суд не выносил ни одного приговора, который оправдывал бы эти восемь тысяч случаев

арестов и тюремных заключений в тяжелейших условиях.

IV. Война детей

Не следует придавать большого значения позам и жестам, речам и декларациям берлинского гитлеризма. Его предводители, господа Геббельс и Эрнст Рём[12], охотно выставляют себя революционерами, стараются наэлектризовать миллионы людей, народные массы, пребывающие аморфными до тех пор, пока им не запихнут в рот пищу, которой они столько лет дожидались, или не сунут в руки заряженные ружья.

Этакий кровавый театр. Но все же театр!

Чтобы увидеть истинное лицо национал-социализма, понять его реальную, глубинную суть, нужно поехать в провинцию, куда-нибудь в самую глушь.

Прежде я уже показывал вам военную среду на примере одного вестфальского кавалеристского гарнизона. Теперь же я направлялся из Берлина в Рейнскую область через Кассель и Дюссельдорф, и мне представлялся случай изучить вблизи настроения провинциальной мелкой буржуазии. Давайте же сойдем на любой, первой попавшейся, станции — предположим, где-нибудь в княжестве Вальдек (Я не уверен, что нацистские власти поощряют такого рода туризм. Поэтому прошу простить меня за неопределенность — я не стану точно указывать имена друзей и места, где вел свои наблюдения.)

Итак, Шранк-старший поджидал меня в гостинице «Кайзерхоф».

* * *

Представьте себе — мы принципиально остаемся в области гипотетического, иначе вся семья Шранков погибнет в концлагере, — так вот, представьте себе один из тех прелестных, безмятежных, идеально чистеньких городишек, которые украшают собой западную часть Германии. Веселые домики с яркими разноцветными ставнями и сизыми или красными черепичными крышами, накрывающими их, точно голубиные крылья. Всюду вековые деревья, парки с бегущими в них ручьями. И ни одного непристойного или скрюченного памятника политическим деятелям, которые оскверняют наши города.

Словом, самая подходящая обстановка для мирной жизни.

С пяти часов вечера в Кайзерхоф, куда сходится поразвлечься местная молодежь, играет музыка — причем хорошая. А

гитлеровские сановники, важные шишки собираются в пивной на первом этаже Адольф-Гитлер-бау — массивного, мрачного пятиэтажного здания, которое по ночам, под суровым ветром, возвышается светящейся бетонной громадой над россыпью скромных домишек.

Если же вы хотите увидеть сокровенные глубины городка, зайдите в гостиницу «Бернгардт» (там вкусно кормят). Это комфортабельное, солидное пристанище, где останавливаются на полпути к кладбищу живые покойники: окрестные аристократы, проедающие и пропивающие последние остатки фамильных имений, скучающие отставные полковники, бывшие сановники, «тайные советники» княжеского двора — жеманные, чопорные привидения.

— Wie Bruten, wie Bestien! Дикари, скоты! — повторяет Шранк, говоря о варварах в коричневых рубашках, которые правят теперь этой райской глухоманью и только что обратили его младшего брата в национал-социализм.

* * *

Сам он, старший брат, ведет дела в Берлине, а всего Шранков в этой доброй старой провинции трое. Отец, хороший адвокат, яростный реакционер, был в правой оппозиции во времена социализма и парламентской республики. Этот Шранк-отец уже в преклонных годах женился на девушке из богатого старинного буржуазного рода. Она родила ему сына — второго, последнего, любимчика, прелестного, белокурого, с нежным девичьим личиком, которому исполнилось пятнадцать лет 30 января, в тот самый день, когда разразилась «национальная революция», о которой мечтал весь клан Шранков[13].

Эгон посещает Realschule, муниципальную школу. Как каждый уважающий себя буржуазный подросток, он записан в штальхельмюгенд[14], носит зеленую рубашку и фуражку с красно-белой кокардой.

Бедняки, сыновья нищих служащих, не вылезающих из долгов крестьян, почти разорившихся мелких торговцев носят коричневые рубашки, грязные штаны и грубые ботинки. Раньше тут водились еще юные марксисты, молоденькие евреи и сыновья «бонз», то есть профсоюзных работников. Но зеленые и коричневые рубашки задали им такого жару, что те исчезли.

Как только пришел к власти Гитлер, для зеленорубашечников настали плохие времена. Мальчишки в своих действиях логичнее взрослых. Гитлеру понадобилось полгода, чтобы избавиться от

реакционера Гугенберга[15]. А в этой провинциальной школе уже через несколько дней после нацистской победы «коричневые рубашки» расквасили носы «зеленым» реакционерам.

Может быть, хотя бы дирекция школы встала на защиту детей из состоятельных семей? Нет.

Странный симптом: некоторые учителя, держа нос по ветру, начинают потихоньку и сами приходить на уроки в коричневых рубашках.

Эгон не трус. Он не сдается, как многие другие. Когда он возвращается из школы с вырванными клоками волос, мать обнимает его, как героя, а отец гордо кивает.

— Нужно уметь страдать за свою партию.

…Но вот на парнишку сыплются не только тумаки, но и наказания — к гонениям неформальным присоединяются официальные. Бедный малый каждый день приходит униженный, с разбитой физиономией (его избивают каждый день). Мать плачет. А отец мрачнеет — о старом адвокате ходят дурные слухи: «Он против власти. Он запрещает своему сыну вступать в гитлерюгенд».

Бедный старик ничего не запрещает. Это мальчик не хочет якшаться с коричневой шантрапой. Даже несмотря на то, что директор школы пишет родителям ядовито-вежливые письма с угрозами отчислить его за дурное поведение.

30 апреля 1933 года эта борьба ребенка и двух взрослых против доблестного режима приходит к жестокому финалу. Четверо нацистов с еще более тошнотворными, чем их рубашки, рожами, заявляются к Шранкам: шарфюрер, который следит за порядком на их улице, и трое громил-штурмовиков. На другой день, 1 мая, старинный респектабельный особняк Шранков первый раз расцвел красным флагом. Разумеется, со свастикой в середине. Но ярко-ярко красным!

В тот день Эгон все понял. И сменил штальхельмюгенд на гитлерюгенд, зеленую рубашку на коричневую.

* * *

Для него началась школа юного нациста. Наука несложная: чуть что, щелкай каблуками, выбрасывай руку и с выпученными глазами ори «Зиг хайль!». Но есть еще Wehr-Sport, военная подготовка, которую проходит вся гитлеровская молодежь (900 000 юношей от 15 до 19 лет). Собираются в пять часов вечера по субботам в штабе отряда, имея при себе сумку с провизией, фляжку кофе, а за спиной настоящий пехотный ранец

с условным грузом в несколько килограммов. Командует маневрами унтер-офицер.

Ночной марш. От семи до пятнадцати километров. Рытье окопов, учебные метания гранат. И самое главное — отработка боевых задач связного; в случае войны шестнадцатилетних мальчишек предполагается употреблять именно в этом качестве, то есть посылать на верную смерть. Возвращаются питомцы гитлерюгенда под утро. И целое воскресенье могут отдыхать. Однажды по вине матери Эгон пропустил одно такое ночное учение. Фрау Шранк было так больно видеть, как ее сыночек возвращается грязный, чуть живой от усталости, согнувшийся под тяжестью солдатской амуниции, что в очередную субботу она просто-напросто не выпустила его из дома. В воскресенье утром к Шранкам являются два нациста. «Заслуженные» штурмовики, уже имеющие нашивки. На голове каска с ремешком, на боку пистолет, на поясе блестящая дубинка, на ногах сапоги с подковами, царапающие паркет. Шагают прямиком в комнату «дезертира». Вручают ему какую-то бумагу, заставляют расписаться, рявкают «Хайль Гитлер!» и, чеканя шаг, уходят. На бумаге написано следующее:

> Наказание
>
> Воспитаннику гитлерюгенда Эгону Шранку надлежит с 12-го по 27-е такого-то месяца (целых две недели) являться в четыре часа утра на гауптвахту при казарме национал-социалистической партии по такому-то адресу.
>
> Подпись: штурмбанфюрер Круг Штефан. 3/VIII.

В маленьких городишках Третьего рейха штурмбанфюрер (начальник гитлеровского батальона) — это больше, чем диктатор, это едва ли не наместник самого Господа Бога, умеющий внушить почтение к своим распоряжениям при помощи резвых дубинок. В результате юный Эгон две недели подряд, зимой вставал до зари и плелся в казарму СА. Кроме него туда приходили и другие нарушители дисциплины. Час или два все ждали, когда соизволит проснуться господин офицер. Иногда часовому в коричневой шинели становилось жалко этих клацающих зубами от холода мальчишек. И он приносил им из караулки горячего кофе. Наконец, являлся офицер, зевая, делал перекличку и шел спать дальше[16].

А наказанные мчались домой за учебниками — да, Третий рейх применяет к детям полицейские карательные меры, но это еще не причина, чтобы они пропускали школу.

— И мальчик стал стопроцентным нацистом. Если вы в

присутствии Эгона скажете что-то дурное о Гитлере, уверен, вам не поздоровится.

Говоря это, Шранк разводил руками едва ли не с восхищением.

V. Полукровка

Каждую пятницу сводный духовой оркестр штурмовых бригад истошно музицирует на первом этаже Адольф-Гитлер-бау. Это священный день. Нацистские чиновники, торговцы, рантье, конторские служащие и отставные офицеры, девушки на выданье и юноши, приглядывающие невесту, — все население городка пьет шоколад или яичный ликер «Адвокат» под бодрую музыку:

> Ich bin Prussen. Kennst mich an die Farbe.
> Я пруссак. Узнаешь меня по цвету.

Или под другие старые военные песни.

Никто, разумеется, не принуждает горожан собираться по пятницам именно здесь, в нацистской пивной. Но если бы кто-то надумал уклоняться, его отсутствие было бы замечено, вот и все. И такое уклонение, я нисколько не преувеличиваю, может иметь весьма серьезные последствия.

* * *

Шранк показал мне, за какой столик лучше сесть, чтобы вживую наблюдать за настроениями мелких буржуа-недоучек, которые, в зависимости от места в партийной иерархии, управляют городом, муниципальной службой, районом, улицей или просто кварталом этой огромной, никому не известной провинциальной Германии.

— Варварский деспотизм, — говорит Шранк.

За столиком, соседним с моим наблюдательным пунктом, сидят семеро. Г-н Staatsantwalt, верховный прокурор области и глава гитлеровской юстиции, человек средних лет с гладко выбритым умным лицом. Директор службы сельскохозяйственных работ с супругой. Важный пост, солидные люди. Сам герр директор, отставной капитан, типичный помещик: жизнерадостный, краснощекий толстяк. Его супруга, пожилая, скромно одетая в черное дама с приятной сдержанной улыбкой.

Рядом с ними начальник СС, командир местных

«гитлеровских чекистов», задорный молодой весельчак — мрачный черный мундир и фуражка с «мертвой головой» никак не вяжутся с голубыми глазами, сочной улыбкой и соломенной шевелюрой. По соседству с этим вагнеровским воином сидит Regierung-Assessor (супрефект) с молодой женой — парочка голубков.

Следующий — сам Шранк, мой берлинский знакомец, торжественно одетый: сюртук, пристежной воротничок. И, наконец, последний рыцарь этого круглого стола, сидящий рядом с г-ном прокурором — герр профессор Бидермайер. Крупный математик, член нескольких академий, чьи труды по термодинамике высоко ценятся в Германии.

* * *

Семь уважаемых людей, цвет и элита городского общества.

Около девяти часов к столику подходит официант. Что-то шепчет на ухо Бидермайеру. Показывает рукой на застекленную дверь в коридор на другом конце пивной.

Там, в коридоре, ждет какая-то женщина.

Профессор встает, одергивает полы сюртука и со смущенным видом нервно бормочет:

— Простите. Я должен идти в театр с женой. Она меня ждет.

За столик этого заведения не имела бы права сесть какая-нибудь нищенка. Но даже она могла бы заглянуть и помахать рукой. Иной раз даже женщины дурного поведения заходят сюда за своими любовниками.

Так почему же не входит фрау Бидермайер, жена прославленного математика? Кто заставляет ее топтаться на пороге? Шранк смотрит направо, налево. Все молчат. Тогда он говорит нетерпеливо ожидающему официанту:

— Пригласите Frau Professor к нашему столику.

Она заходит. Застенчиво, стыдливо присаживается к столику, за которым ее муж, знаменитый ученый, «мозг» городка, дружески беседовал с национал-социалистической знатью, составляющей высший свет и управляющей этим затерянным уголком коричневой империи.

Никто, кроме Шранка, который пригласил фрау Бидермайер, чем навлек на себя ледяные взгляды сотрапезников, и не подумал с ней поздороваться, даже муж делает вид, будто ее не замечает. У нее дрожат руки. Она затравленно озирается. Зачем ее позвали, если все молчат?

Гнетущая тишина!

Наконец, застольная беседа возобновляется. Но говорят исключительно о евреях, слащаво-снисходительным тоном. Молчит только один человек. Ее муж. Он отворачивается. Боится или стыдится жалкой улыбки, которой болезненно кривится ставшее бледным, как полотно, лицо несчастной женщины?

— Как видите, мадам, мы вовсе не запрещаем евреям находиться среди нас…

— А за границей нас обвиняют в том, что мы будто бы их истребляем… за ваше здоровье, Gnädige Frau[17]…

И т. д.

История (лучше сказать — трагедия) фрау Бидермайер очень проста. Она Halb-Jüdin, полукровка — дочь еврея и христианки. Когда профессор женился на ней незадолго до войны, он был беден и неизвестен. Она же хороша собой, богата, одевалась в Париже, умела устраивать приемы. Ее происхождение никого не заботило. Профессор обязан ей своей карьерой. А прокурор, супрефект и отставной капитан — множеством роскошных обедов. Как галантно они целовали ее холеные руки! Как любезничали с ней!

А потом наступило 30 апреля 1933 года. И все прекратилось: целование рук, комплименты. Заболей фрау Бидермайер в тот день чумой, это было бы не так страшно — ведь от болезни можно выздороветь и вернуться к прежней жизни среди людей. А можно умереть — быть оплаканным близкими и упокоиться с миром. Но этой женщине не будет ни жизни, ни покоя, ни сочувствия. Для этого городка, где она прежде была королевой, она ни мертва, ни жива, она наполовину еврейка, а значит, ее не существует. Ее игнорируют. Заметьте, что ее супруг — порядочный человек. Он не разводится с ней. Но стыдится женщины, которой всем обязан, не защищает ее от оскорблений, не становится на ее сторону, смиряется с ней, как с уродливой язвой, которую обречен унести с собой в могилу.

О рыцарственная Германия!

На другой день Шранк рассказал мне все ускользнувшие от меня подробности этой почти бессловесной драмы.

— Знаете, что самое замечательное? — сказал он. — В одиннадцать часов, когда я вернулся домой, мне позвонила фрау Бидермайер и спросила, не очень ли сурово первые лица города осудили ее за то, что она посмела сесть с ними за один стол. Она боялась, как бы эта ее дерзость не повредила мужу. И говорила сдавленным, дрожащим голосом. Бедная женщина!

VII. Каторга для священников

Мало в каких частях Германии национал-социализм встречал такое сопротивление, как в швабских землях. Швабы, населяющие Баварию на западе и Вюртемберг на юге, эти темноволосые, упрямые, работящие горцы, во многом похожи на наших овернцев.

Те и другие держатся за свои старинные устои, преданы своим суровым скалам и лесам и боятся политических потрясений. Известно, во что обходятся революции, и никогда не знаешь, что они принесут.

Однако же, придя к власти, национал-социалисты сумели целиком и полностью подчинить себе швабов. Эта перемена особенно заметна в Вюртемберге. Где бы вы ни очутились: в штутгартской долине, в Швабском Альбе, где стоит замок Гогенцоллерн, в дикой чаще Шурвальда или в парке Шонбуш — Гитлер везде король. Гитлер — бог.

Нет никаких сомнений, что невероятной силы нацистский натиск совершил это чудо. Хотя, быть может, этому способствовали некоторые дополнительные «средства агитации». Неужели, подумал я, здесь, в Вюртемберге, гитлеризм царит безраздельно и не осталось даже следов оппозиции?

Долго искать не пришлось. Оппозиция существует. Те, кто противится нацистскому «Корану», собраны в одном месте — в концлагере Хойберг.

* * *

Даже официальная гитлеровская пресса признает, что баварский лагерь Дахау — это место наказания. Но тут же спешит добавить, что в Хойберге условия содержания гораздо мягче.

Там политических заключенных не карают, а перевоспитывают. У меня перед глазами интервью, которое дал иностранным журналистам штурмбанфюрер, гитлеровский полковник, который заведует этим репрессивным учреждением. Те же песни.

В общем для властей Третьего рейха Хойберг — образцовый концлагерь, не каторга, а что-то вроде принудительного курорта. Что думать о таких заверениях?

Этот вопрос мог бы особенно заинтересовать католические круги нашей страны. Ведь именно сюда главным образом отправляют священников, заподозренных во враждебном или не слишком восторженном отношении к режиму. Например, 6 января 1934 года вюртембергская политическая полиция сослала к этот лагерь аббатов Дангельмайера и Штурма, которые служили

в Майцингене и Вальдхайме.

И это не исключительные случаи. Мне известно из достоверных источников[18], что многие священнослужители успели насладиться или наслаждаются в данный момент прелестями этого горного «курорта».

* * *

От Штутгарта до Хойберга по прямой шестьдесят километров. Два часа езды поездом и автобусом через Швабский Альб, массив из округлых холмов, покрытых золотой парчой древесных рощ, легкой кисеей водопадов и вышивкой синих прожилок ручьев. Великолепная прогулка.

Из поезда надо выйти на станции Балинген. Здесь предостаточно туристов. Машину вы возьмете без труда. «Zum Heuberg? В Хойберг?» Шофер не слишком удивлен — эти иностранцы чертовски любопытные! Им и концлагерь хочется посмотреть — ну конечно! Веселый малый только предупредит вас с усмешкой, что вход в «концерт-лагерь» запрещен… всем, кроме тамошних постояльцев.

Каменистая дорога взбирается вверх на плато по крутым склонам. Сверху открывается дивный пейзаж. Волнистые синие гребни простираются до самого горизонта и смыкаются с легкими облачками. Вдали смутно поблескивают тирольские снега. Прохладный ароматный ветерок доносит с равнины звон колокольчиков, оклики пастухов, усиленные раскатистым эхо.

А прямо перед вами, примерно в километре, словно детские кубики, разбросаны на зеленом лугу бетонные строения. Это лагерь.

На первый взгляд — неплохо. Не может быть, чтобы посреди этого благолепия скрежетали тюремные запоры, чтобы в божественной красоте истязали людей. И этими впечатлениями вам придется ограничиться. Вход внутрь категорически воспрещен, если у вас не имеется специального разрешения за подписью гауляйтера партайгеноссе Шмидта, молодого и всемогущего национал-социалистического правителя Вюртемберга.

От ворот поворот.

Когда же узнаешь несомненную правду, иллюзии рассеиваются. Итак, что такое Хойберг при ближайшем рассмотрении?

* * *

Полтора десятка двухэтажных бетонных бараков. На первом этаже — два помещения, разделенные вестибюлем.

Эти домики строились до войны для летнего детского лагеря. Поэтому в них нет ни отопления, ни умывалок и туалетов. Нижние комнаты рассчитаны максимум на десять детей.

Теперь в них размещают, то есть, простите, в них упихивают по два — два с половиной десятка взрослых[19]. Железные кровати. Никакого постельного белья. Узники спят на мешках, набитых соломой, которую меняют раз в месяц, когда она превращается в вонючую труху.

При поступлении сюда запрещено брать с собой личные вещи, даже туалетные принадлежности. Не важно, сосланы они на две недели или на полгода — ни мыла, ни расчески, ни бритвы.

Надо, чтобы они одичали, внушали друг другу омерзение, чтобы от них воняло. Это входит в план национал-социалистического «перевоспитания».

Перед дверями каждого барака установлена рогатка, так что остаются только узкие проходы справа и слева от нее, которые круглосуточно стерегут два охранника с пистолетами. Рогатка обмотана проводами. В случае бунта, если заключенные какого-нибудь барака вздумают вырваться на волю, ток высокого напряжения заживо поджарит тех, кого не успеют навсегда угомонить пули охранников.

Умывалка и сортиры расположены в нескольких метрах от бараков. Туда можно ходить только под надежным конвоем!

И последняя приятная деталь: в некоторых тюремных домиках окна зарешечены. Здесь живут баловни, привилегированные заключенные. Во всех других окна закрыты, ставни наглухо заколочены, то есть их обитатели живут в полной темноте.

* * *

Распорядок, увеселения, развлечения и т. д.

Политические заключенные в Хойберге делятся на три класса. Распределение происходит сразу по прибытии узника в соответствии с досье, составленным политической полицией.

Первый класс. Назовем его, если не возражаете, Раем. В Рай попадают те, кто не является открытым политическим врагом и кого при помощи не слишком строгих мер надеются переделать в сочувствующие. В их комнаты проникает солнечный свет. Им разрешают получать посылки с воли — пищу и белье. Впрочем, присланную еду они должны делить на всех «постояльцев»-

сокамерников.

Заключенные первого класса зимой и летом встают в шесть утра. У них есть пять минут, чтобы сполоснуть лицо в умывалке, потом они получают чашку кофе и ломоть хлеба. А затем работают до часу дня.

Право на работу расценивается как величайшая милость.

Эти узники выполняют не особенно трудные задания: уборка территории, починка, работа по хозяйству.

В час обед по баракам. На комнату выдают одну общую миску, из который каждый выуживает что может. Зато здесь можно пользоваться вилками и ложками. После обеда снова работа или физические упражнения. Вечером — еще кусок хлеба. В восемь часов все лежат на своих соломенных тюфяках. Сон, тишина.

По моей информации, в «благополучный» первый класс попадают интеллигенты и буржуа[20], не высказывавшие вслух неприязнь к режиму.

Второй класс. Режим такой же, как в первом, только работа гораздо более тяжелая: заключенные мостят дороги, распахивают ланды — непосильный труд для людей, получающих в день глоток супа, чашку кофе и два куска хлеба.

Постояльцы Чистилища — это, в основном, рабочие, прежде состоявшие в социалистической партии, но не входившие в число профсоюзных лидеров, главарей, словом, тех красных функционеров, которых нацисты с ненавистью называют бонзами.

В бараки Чистилища тоже проникает солнечный свет, но к окнам подходить запрещено. И не думайте, что только на словах. Стоит кому-нибудь выглянуть сквозь решетку, как ему в лицо уже целится охранник…

В третьем классе находятся про́клятые, неисправимые, те, кого хотят окончательно сломить. Рабочие-коммунисты, журналисты, резко выступавшие против «коричневых» до того как те пришли к власти… и даже — увы! — те, кого гитлеровская диктатура считает сегодня своими самыми опасными врагами: католические священники, виновные в том, что они почитают записанный в Евангелии долг милосердия.

Заключенный третьего класса в Хойберге первым делом попадает в те самые темницы с заколоченными ставнями. И остается там две недели.

Представьте себе: две недели в зловонных потемках, в жуткой тесноте, бок о бок с десятками незнакомых, невидимых, обезумевших от всего этого кошмара людей, которые стонут, ругаются и чертыхаются шепотом, потому что в этой земной преисподней запрещен не только свет, но и звук.

И голод, звериный, лютый голод. Охранники, зажимая нос, приносят в этот человеческий зверинец общую лохань, из которой узники пытаются что-то зачерпнуть руками в жуткой, смрадной, беспросветной темноте.

Несомненно, священники, брошенные в этот ад третьего класса за веру и безропотно принимающие страдания, честно зарабатывают здесь нимб, которым их увенчают в раю.

Признаюсь: мне не менее жалко и рабочих-коммунистов, и красных «функционеров» — всех фанатиков, которых другие, куда более свирепые, фанатики обрекли на такие мучения. Каждый день заключенным Ада положены три прогулки по полчаса под охраной вооруженных штурмовиков. Считайте: всего 21 час за две недели на то, чтобы глотнуть сладостного свежего воздуха и полюбоваться отрадным светом. И 315 часов душной, тошнотворной, мерзкой тьмы. Самый последний, триста пятнадцатый час, должно быть, самый ужасный. Надо сидеть, сжав зубы. Стоит охраннику услышать возмущенное восклицание или бранное слово — и ты не перейдешь вместе с товарищами во второй класс.

Тебе обеспечены еще две недели в темнице. И так до тех пор, пока твоя воля не превратится в жалкую, ничтожную тряпку.

* * *

Никто из заключенных, к какому бы классу они ни относились, не получает писем и свиданий. Их жены могут умереть от горя, дети — от голода, они узнают об этом, только когда… и если!.. выйдут на волю. Из лагеря Дахау нескольким храбрецам удалось убежать. Из Хойберга, насколько мне известно, не убежал ни один человек.

Пара штурмовиков и рогатки, установленные на пороге каждого тюремного барака, видимо, были сочтены недостаточно надежной охраной. Весь лагерь окружен колючей проволокой под высоким напряжением. И у всех входов стоят часовые.

Когда вюртембергские власти, на сто процентов состоящие из нацистов, сравнивают свой концлагерь с курортом, они еще слишком скромны. Хойберг — настоящий санаторий. Только подумайте: всем отдыхающим тут предлагают электролечение. Радикальный метод, который может за долю секунды избавить человека от всех болезней, включая самый страшный недуг — жизнь в стране, где вас считают лишним.

И это лечение бесплатно!

Швабы — тугодумы, они не доверяют новым идеям и

политическим переворотам. Но в конце концов под воздействием подобных благодеяний даже немногие злостные упрямцы, не разделявшие идеалы Третьего рейха, волей-неволей изменили убеждения.

VIII. Гитлеровские шуточки

Курс похудания, лечение темнотой, при необходимости электрошоком, а то и введение свинца в упрямые мозги — я говорил вам, что «медицинские» услуги в Хойберге бесплатны.

Это не совсем так.

Счастливцы все же оплачивают, хотя цена вполне умеренная, пребывание на этом альпийском курорте. По идее, каждый заключенный обязан платить две марки (12 франков) за день, заполненный разнообразными занятиями: очисткой выгребных ям, если находится в Раю, мощением дорог, если попал в Чистилище, или выживанием из ума, если удостоился Ада. Узники-рабочие платить по 12 франков не могут. Поэтому за них этот обязательный добавочный налог за право носить общие цепи выплачивают их товарищи по несчастью — буржуа и интеллигенты. Так воплощается в жизнь идеал всеобщей солидарности, присущий настоящему «социализму» и распространяющийся на всех подданных Третьего рейха, включая его жертвы.

Но это еще не все!

12 ноября 1933 года, в славный день, когда Адольф Гитлер пожелал получить всенародный вотум доверия[21], голосование проходило даже в концлагерях. Вот цифры плебисцита по Хойбергу. Я почерпнул эти достойные восхищения результаты из официальной нацистской газеты за 13 ноября:

> В концлагере Хойберг свое избирательное право осуществили 454 заключенных. Голоса распределились следующим образом: 1-й класс: 111 — да, 5 — нет[22], 1 бюллетень испорчен. 2-й класс: 159 — да, 28 — нет, 9 бюллетеней испорчено. 3-й класс: 75 — да, 30 — нет, 36 бюллетеней испорчено.
>
> Уже сегодня из концлагеря Хойберг будет освобождено сто заключенных.

Благостные данные, однако в них имеются пробелы. Например, хотелось бы знать: как проходили выборы в третьем классе, то есть в Аду, где узники живут две исправительные недели в темноте? Без света? Отличный способ обеспечить тайное

голосование! И разрешалось ли заключенным второго класса, то есть Чистилища, кричать сквозь решетки «Хайль Гитлер!», не рискуя получить пистолетную пулю в лоб?

А также что сталось с пятью заключенными первого класса, которые проявили дурной вкус и ответили «нет»: их выпустили из Рая вместе с теми, кто выбрал ответ «да»?

В сегодняшней Германии, где власть возводит в добродетель все свои бесчинства, не приходится возмущаться тем, как мучают поверженных противников. Но когда над ними еще и глумятся, это уж чересчур. Да и смысла в этом никакого!

Рискуя огорчить нацистских правителей Вюртемберга, если им вдруг попадутся на глаза мои записки, сообщаю, что самые впечатляющие рассказы о Хойберге я услышал из уст бывших заключенных первого класса через несколько дней после того, как они вышли на свободу.

Вы «осыпали их милостями», господин гауляйтер Шмидт. Эти ангелы из вашего Рая проголосовали «за» с воодушевлением, подогреваемым близостью Ада. Но это не заставило их молчать и не помешало им поведать мне о своих мучениях так, что сердце мое разрывалось от жалости к жертвам и переполнялось неизбывной ненавистью к палачам.

XII. Заключение

Короткая стоянка в Кёльне, вежливое приветствие последнего немецкого таможенника в элегантной, лягушачье-зеленого цвета форме. Базельский экспресс пересекает полноводный Рейн и направляется в Страсбург.

Возможно, французский таможенник будет не таким подтянутым. А водитель такси с недовольным видом сунет в карман чаевые и даже не скажет спасибо — верно, коммунист. По ту сторону границы такие, как он, гниют в лагерях.

Газетные колонки переполнены неприятными, грязными, нелепыми историями: о преступлениях, забастовках, скандалах, о безответственности и вранье парламентариев. Обо всем, от чего по ту сторону Рейна избавились или о чем благоразумно умалчивают.

Прежде по возвращении из Германии я с горечью предвидел болезненные разочарования и обиды, которые почувствую, едва ступив на родную землю. На этот же раз, наоборот, мне не терпится, меня томит желание поскорее вдохнуть полной грудью воздух моей древней страны. Расставшись с живыми машинами, очутиться среди людей! Пробродив целый месяц в зловещей тьме, увидеть отрадный для глаз свет солнца, которое светит всем без

разбора, — какое наслаждение!

У нас во Франции полно недостатков, но мы думаем о них так же свободно, как дышим. Тогда как нынешняя Германия, которую Третий рейх выдает за самое цивилизованное государство, «образцовую страну», есть не что иное, как чудовищный, безукоризненно сработанный, готовый к бою снаряд, в котором миллионы людей заменяют молекулы металла.

Снаряд, который может в любой момент взорваться и перевернуть всю историю человечества.

Заканчивая этот репортаж, видимо, последний, который мне довелось вести из соседней страны, попробую ответить на вопрос, которым я задавался с самого начала: «На каких основах было бы возможно заключить соглашение с гитлеровской Германией? И может ли оно быть длительным и прочным?»

Кто хорошо знаком с германской ментальностью, тот понимает: для немцев слово «соглашение» имеет не тот же смысл, что для французов. Если мы предполагаем уступки, то немцы ждут капитуляции.

Да и о каких уступках речь? На востоке, за счет наших союзников? Почему Германия должна стать менее агрессивной с ослаблением лишившейся польской поддержки Франции?

Или на юге — смириться с аншлюсом? Коричневая армия увеличится в Австрии еще на двести или триста тысяч солдат. Эта армия уже сейчас мечтает только о войне, и вы хотите, чтобы подобное пополнение сделало ее более миролюбивой? Какое безумие!

Тогда уступить на западе? Отдать Эльзас и Лотарингию? Но этим дело не обойдется. Если предположить невозможное — что найдется такое французское правительство, которое пожертвует нашим кровным достоянием, или что нас принудят к этому обстоятельства, германский Молох этим не удовольствуется. Он потребует Нанси и Дюнкерк.

Словом, в чем уступать? Ради чего капитулировать? Если противник хочет не отнять у нас часть территории, а полностью нас уничтожить?

* * *

— Но надо все-таки определиться с нашей позицией по отношению к соседям. Договариваться или воевать?

— Надо быть готовыми к схватке.

По ту сторону Рейна пятнадцатилетние мальчишки учатся бросать гранаты, старухи умиляются, глядя на пулеметы. СА, СС,

рейхсвер, военизированная полиция — миллионы людей осваивают навыки убийства. Народу, который стремится к победе или смерти, завязывают глаза — думать запрещено! Всякая умеренность истребляется.

Эта Германия, деградировавшая до уровня первобытных инстинктов, готовится к войне, тучи сгущаются, близится буря.

Так довольно дипломатического пустословия, детского лепета и учтивых реверансов, которые ни на минуту не отсрочат пушечных залпов.

Не будем складывать оружие, и пусть весь мир раз и навсегда узнает нашу волю. Дадим понять Германии, что наше терпение имеет предел. Гитлеры, геббельсы и геринги хотят обрушить молнии на наши головы. Однако им известно, что штыки — отличные громоотводы.

Многие люди — и я в их числе — полагают, что в Европе больше не могут уживаться столь противоречивые вещи, как немецкий гитлеризм и французский либерализм. И если один из двух противников должен отступить, то почему непременно мы?

Объединившись с нашими нынешними союзниками, мы — пока еще сильнее. Так будем же говорить языком сильных с теми, кто уважает только силу.

Перевод Натальи Мавлевич

notes

Примечания

1

Первомайская демонстрация 1933 г. произошла под знаменами национал-социалистической партии и закончилась миллионным собранием на аэродроме Темпельхоф. 2 мая Гитлер приступил к разгрому профсоюзов. (Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, — прим. перев.).

2

Взрывчатая смесь, изобретенная в 1881 г.

3

Французская свинья (нем.).

Reichswehr — германские вооруженные силы.

5

Черный рейхсвер (Schwarze Reichswehr) — парамилитаристские образования, использовавшиеся для подготовки резерва с 1919 г., когда официальная численность германской армии была жестко ограничена.

На его место назначен генерал фон Фрич, фигура куда более скромных дарований. (Прим. автора.).

7

Неделя с 21 по 26 июня 1933 года, когда сотни противников национал-социалистов были арестованы, подверглись пыткам и убиты силами СА, получила название «кровавая неделя в Кёпенике».

8

Reichsbanner — республиканская политическая и боевая организация под руководством социал-демократической партии, существовавшая в Германии в 1924–1933 годах.

9

Будьте любезны (нем.).

10

Хорст Вессель (1907–1930) — нацистский активист, штурмфюрер СА, автор текста «Песни Хорста Весселя», ставшей маршем СА, а потом гимном национал-социалистической партии.

11

Я видел своими глазами, что в двух шагах от магазинчика Штайнблеха находился другой, тоже торговавший мужской одеждой в нацистском духе: коричневые рубашки, черные галстуки. Вполне вероятно, что его хозяин не слишком хорошо отозвался о своем «неарийском» соседе и конкуренте. (Прим. автора.).

12

Эрнст Рём (1887–1934) — один из лидеров национал-социалистов и руководителей СА. Убит по приказу Гитлера в «ночь длинных ножей».

13

30 января 1933 г. президент Германии Гинденбург назначил рейхсканцлером Гитлера.

14

Stahlhelmjugend — молодежная организация при существовавшей в Германии в 1918–1933 гг. право-консервативной, монархической, реваншистской политической и боевой организации «Стальной шлем» (Stahlhelm).

15

Альфред Гугенберг (1865–1951) — влиятельный немецкий бизнесмен и ультрареакционный политик. Был членом первого кабинета Адольфа Гитлера в 1933 г.

16

Sich melden, являться по приказу в распоряжение начальства — одно из самых изобретательных наказаний, которые нацисты применяют по отношению к проявляющим недостаточное рвение. Вид пытки для нерадивых. (Прим. автора.).

17

Милостивая государыня (нем.).

18

После референдума 12 ноября около сотни политических заключенных Хойберга были помилованы. Мне удалось встретиться с некоторыми из них. Их свидетельства подтверждают сведения, которые я собрал на месте или почерпнул из иностранной прессы. (Прим. автора.).

19

Это следует из цифр, опубликованных самими нацистами. В то время, когда я интересовался Хойбергом, там находилось 500 заключенных. Всего пятнадцать бараков, два из них занимает охрана, в одном живет комендант, еще в одном располагается склад. Остается одиннадцать. Вторые этажи везде пустые, значит, получается двадцать две комнаты примерно по двадцать три человека в каждой. (Прим. автора.).

20

Вполне возможно, что в Хойберге содержатся даже высокопоставленные особы. Это подтверждает сообщение, опубликованное в «Пти-паризьен», не вызвавшее опровержения в национал-социалистической прессе:

«Страсбург, 4 декабря (от нашего специального корреспондента).

До нас дошло чрезвычайно интересное известие, связанное с недавним гитлеровским референдумом в Вюртемберге. По словам весьма осведомленного лица, 12 ноября в Штутгарте произошло знаменательное событие, с одной стороны, показывающее, что в определенной среде нынешние властители Германии встречают сопротивление, а с другой — демонстрирующее, какими средствами его подавляют.

Герцог Филипп-Альбрехт Вюртембергский, старший сын герцога Альбрехта и претендент на престол, находившийся в тот день в вюртембергской столице, не пошел голосовать и, как говорят, посоветовал своим приближенным воздержаться от участия в референдуме, в результате чего его дважды, утром и вечером, посетили сначала представители „Стального шлема“, где он состоит, а затем нацисты, настаивавшие, чтобы он принял участие в голосовании. Он отказался, и его взяли под стражу и куда-то увели.

Согласно одной из имеющих хождение версий, герцога на следующий день отпустили с предписанием покинуть страну в трехдневный срок. Согласно другой, он остается в заключении, скорее всего, в концлагере Хойберг.

Разумеется, в прессе об изложенном мной с обычными оговорками инциденте не было упомянуто ни словом, но на местных жителей он, по всей видимости, произвел сильное впечатление». (Прим. автора.).

21

12 ноября 1933 г. в Германии состоялись внеочередные всенародные выборы в рейхстаг, одновременно с референдумом по вопросу о выходе Германии из Лиги Наций.

22

Да — за Гитлера, нет — против.